

У Н. С. Трубецкого представления об иллюзорности ценностей нет. Оно исключается религиозностью автора. Как и все действительно верующие, кн. Трубецкой признаёт абсолютные высшие ценности, установленные Божьей волей. Эти ценности допускают варианты, они — не единственные (что и делает возможным множественность культур и религий, заслуживающих равного уважения), но в конечном счёте сводятся к «морали Десяти заповедей». По той же причине не считает ценности иллюзорными и В. Н. Дёмин, хотя место Бога у него занимает космос как «супер-ЭВМ». Точно так же серьёзно относятся к ценностям Г. Вирт и авторы «Ура Линды»: они установлены богом Вральдой и «советом» (точнее, заповедью) праматери Фрейи.

Этого, впрочем, нельзя сказать об А. Г. Дугине. В своей «Конспирологии» он посвятил особый раздел «*Метафизика оккультной войны*» мировому противостоянию двух «Орден» — Евразии и Атлантики. И при этом специально замечает:

«Выбор геополитического пути отражает выбор пути метафизического, пути эзотерического, пути Духа сквозь мироздание. Поэтому никаких гарантий не существует, поэтому нельзя, строго говоря, утверждать, что Евразия — это хорошо, а Атлантика — плохо, что Рим — это благо, а Карфаген — это зло, и наоборот. Но каждый, призванный своим Орденом, должен совершить решительный шаг и служить именно своему Ордену» (Дугин 2005 {1991—1992}).

Иными словами, каждый играй за свою команду. Вот и весь экзистенциальный выбор человека. Но если нам не нравится «служить Ордену», у которого такие пророки?

### **III.9. Аристократический характер высших ценностей**

Вспомним ещё раз: «этнос не биологическое явление, так же как и не социальное <...> предлагаю этнос считать **явлением географическим**» (Гумилёв 1990: 17). Как сие возможно? По Гумилёву, ядро этноса — именно биологическое, возникает оно в результате «генетического дрейфа пассионарности». Это ядро, генерируя привлекательные идеи, собирает вокруг себя исполнителей, которые сами по себе безыдейны и потому неспособны ни на что великое. Ядро обрастает «обстановочкой», формы и масштабы которой как раз и зависят от «вмещающего ландшафта». В целом это — власть «породы», наследственной элиты. Да и нижестоящие конвинксии (группы, объединённые не только «общностью судьбы», но и реальной общностью, совместной жизнью) — чаще всего наследственные сословия (см.: Гумилёв 1990: 20—21, рис. 1 и 2).

В итоге вывод автора: «Избыток пассионарности так же вреден, как и её недостаток» (Гумилёв 1990: 100) — означает следующее. «Избыток пассионарности» равносителен крайнему аристократизму, «её недостаток» — отсутствию чётко выраженной общественной элиты. Конечно, Гумилёв — не Розенберг, и слово «демократия» для него не бранное. О военной демократии, где «хана провозглашало войско», а «парламентаризм и коррупция не нашли бы места в военной ставке и окружавших её аилах» (Гумилёв 1970: 121; 1992 а: 91), он наилучшего мнения. Что касается выпада против парламентаризма, то это — явно славянофильский штамп. Почти все, кто видел парламент в действии, отзываются о нём без большого пиетета. Т. Джефферсон, один из создателей американской системы власти, сокрушался по её пово-

ду: «Если нынешний конгресс грешит многословием, то как же может быть иначе в собрании, куда народ послал сто пятьдесят юристов, чьё ремесло — во всём сомневаться, ни в чём не уступать и говорить часами? Так что не следует ожидать, что сто пятьдесят юристов смогут вместе делать дело» (Джефферсон 1990: 62). Но выбор альтернативных вариантов скуден: либо единоличная диктатура, либо диктатура единодушного (что возможно только при его неразвитости) общественного мнения, которую у нас так любят называть «соборностью». Не зря У. Черчилль говорил: «Демократия — самая худшая форма правления, за исключением всех остальных». Иными словами, при всех своих недостатках парламентаризм — хотя и зло, но наименьшее из возможных, а потому и неизбежное, лучше с ним мириться.

Однако «невыездной» Гумилёв, всю жизнь проживший в СССР, не мог своими глазами видеть реально работающий парламент. Он мог судить об этом только по весьма пристрастной информации советской прессы. Ему ближе порядок, когда «хана провозглашало войско», и в этом он не одинок. Уже А. де Буленвилье возмущало, что завоевание Галлии франками историки его времени объясняли лишь личными заслугами Хлодвига, ставя его вровень с Александром Македонским и «забывая про всю нацию». Нет, возражал граф, эти две личности несопоставимы: ведь Александр покорял Азию лишь для себя и своих наследников.

«В самом деле, именно этому принципу — более хватающему через край (*abusif*), чем можно себе представить, — мы обязаны общим представлением, что на Галлию, а в наши дни на Францию следует смотреть как на наследственное достояние Хлодвига и его потомков. И при этом не вспоминают более, что изначально Хлодвиг был лишь генералом свободной армии, избравшей его, чтобы вести её на предприятия, слава и добыча от которых была бы общей. Взглянем же на эти предметы в их истинном свете: почтим в лице королей весь блеск и действительное величие, причитающееся вождям столь воинственной нации; но выясним и покажем, по правилам исторической истины, права и преимущества, которые эта самая нация приобрела и сохранила под водительством и защитой этих самых королей, в основном в силу завоевания Галлии, — *свободу французов*» (Boulainvilliers 1727: 25—26).

Выборные французские короли у Буленвилье мало чем отличаются от выборных ханов у Гумилёва. Если же вспомнить, что «французская нация» у графа означает только французскую знать, перед нами картина аристократического правления во главе с выборным военным вождём, своего рода бессрочным президентом, который избирается пожизненно, но может быть смещён. Во времена, когда жил А. де Буленвилье (1658—1722), это даже не фантастика: такой же порядок был в то время реальностью в Польше, Трансильвании, несколько раз выборы в сословном риксдаге решали судьбу шведского престола. Даже в России в 1613 г. Михаил Фёдорович был избран царём без «уговора» о наследовании престола в его роду. Романовы как династия закрепились у власти лишь после смерти Михаила — не законодательным актом, а явочным порядком, в связи с отсутствием серьёзных соперников.

Поэтому, как ни покажется странным, аристократический миф относится к династическим правам монархов сдержанно-отрицательно. И даже Розенберг называет «устаревший династический принцип» в числе идей, «отравивших» старый национализм (Rosenberg 1934: 215).

Так или иначе, элитизм Л. Н. Гумилёва — умеренный. Розенберг рисует картину единственной элиты на все времена («расы господ»), Гумилёв же — картину

исторической смены элит, их подъёма и упадка. Это и позволяет ему делить историю России на две части: Московская Русь — не то, что Киевская, поскольку московское боярство не восходит ни генетически, ни типологически к правящей верхушке Киевской Руси. На том же основании Китай после 589 г. (падение Южных Дворов) — иной этнос, чем древнекитайский, хотя не произошло смены языка. Всё это и позволяет отнести Л. Н. Гумилёва к циклистам.

У Шпенглера — деятеля «консервативной революции» — аристократизм высших ценностей неприкрытый. Уже во введении у него появляется антигерой — «новый кочевник, паразит, обитатель большого города <...>, исполненный глубокой антипатии к крестьянству (и к его высшей форме — поместному дворянству)» (Шпенглер 1993: 165). Он убеждён: «Всё решается ограниченным количеством превосходных умов, чьи имена в данный момент, пожалуй, даже и не относятся к известнейшим, тогда как внушительная масса политиков второго сорта, риториков и трибунов, депутатов и журналистов, весь этот ассортимент, по мерке провинциальных горизонтов, поддерживает в самых низах иллюзию самоопределения народа» (: 168). В его списке состава «культуры (дворянства, церкви, привилегий, династии, конвенций в искусстве, границ познавательных возможностей в науке)» (: 166) дворянство стоит на первом месте, церковь — сразу за ним, зато наука — последней. Династии же при этом утоплены в середине перечня.

У Тойнби же — умеренный элитизм. Судьбу цивилизации у него определяют «творческие меньшинства» (Тойнби 1991: 258), однако они не только не наследственные — каждый новый Вызов, в зависимости от своего характера, требует появления новой элиты (: 306), — но и постоянно вынуждены доказывать своё право на лидерство. Если им не удаётся этого сделать, происходит надлом, ведущий цивилизацию к неминуемой (хотя и нескорой) гибели.

«В сущности, второе условие более трудно для исполнения. Наличие в обществе сильной личности — фактор необходимый и достаточный для зарождения процесса (нет оснований предполагать, что Природа лишила какое-либо человеческое общество сильной личности). Однако для ответного движения нужны определённые условия, при которых творческая личность может увлечь за собой остальных» (Тойнби 1991: 260, цитата из «Двух источников морали и религии» А. Бергсона).

Из всех рассматриваемых авторов Н. С. Трубецкой, князь из потомков Гедимины по прямой линии, — единственный, кому не приходится доказывать свою аристократическую позицию. Именно поэтому ему нет необходимости её афишировать. Ярче всего она заметна в рассуждении о Чингисхане: «К своим подданным, начиная с высших вельмож и военачальников и кончая рядовыми воинами, Чингисхан предъявлял известные нравственные требования. Добродетели, которые он больше всего ценил и поощрял, были верность, преданность и стойкость; пороки, которые он больше всего презирал и ненавидел, были измена, предательство и трусость. Эти добродетели и пороки были для Чингисхана признаками, по которым он делил всех людей на две категории» (Трубецкой 2007 {1926}: 299). При этом великому хану приписывается едва ли не единобожие: «Таким образом, человек рассматриваемого типа всё время сознаёт себя как часть известной иерархической системы и подчинён в конечном счёте не человеку, а Богу. Измена и предательство для него психологически невозможны, ибо, изменив своему непосредственному начальнику, он тем самым ещё не освобождается от суда начальников, более высоко стоящих, и, даже изменивши

всем земным начальникам, всё-таки не уходит из-под власти суда Божьего, из-под власти божественного закона, живо пребывающего в его сознании. Это сознание невозможности выхода из-под власти сверхчеловеческого, божественного закона, сознание своей естественной и неупразднимой подзаконности сообщает ему стойкость и спокойствие фатализма. Чингисхан сам принадлежал именно к этому типу людей. Даже после того, как он победил всех и вся и сделался неограниченным властелином самого громадного из когда-либо существовавших на земле государств, он продолжал постоянно живо ощущать и сознавать свою полную подчинённость высшей воле и смотреть на себя как на орудие в руках Божиих» (Трубецкой 2007 {1926}: 301—302). Это — скорее чёткое заявление о собственной позиции, чем историческая реальность.

Особняком в этом ряду стоит «*Ура Линде*». Законы мира, описанного в ней, направлены против частной прибыли. Так, подоходный налог с торговли, по «*Общим законам*» (ст. 9—10) составляет 90%, а ростовщичество запрещено (Вирт 2007: 108, 109). Вообще как в самой хронике, так и у Г. Вирта замечен не столько аристократизм, сколько антибуржуазный дух, не раз сочувственно отмечаемый комментатором: «Ибо, если бы они снова поняли весь его Смысл, то они перестали бы делать смыслом своей жизни ошибочную погоню за Мамоной, и не стали бы объявлять бессмысленную индустриализацию и урбанизацию “экономическим” развитием и необходимостью <...>. Подлинный Дух Времени — Zeitgeist — проявлял себя лишь в здоровом ритме Года Божьего, в жизни крестьян и добрых нордических дикарей, способных жить естественно и не подлаживать весь мир под свою “философию”» (Кондратьев 2007: 36). Действительно, Фрисландия — «святая земля» «*Ура Линды*» — никогда и не была опорой аристократии — скорее краем свободных крестьян.

Генрих Гейне, посетивший Восточную Фрисландию в 1825—26 гг., когда этот район принадлежал Ганноверскому королевству, отмечал: «Когда сердце бьётся за свободу, каждый его удар так же почтенен, как удар, посвящающий в рыцари, и это знают свободные фризы, заслуживающие своё прозвище; исключая эпоху вождей, аристократия в восточной Фрисландии никогда не властвовала, там жило очень немногое дворянских семейств, и влияние ганноверского дворянства, распространяющееся теперь по стране через административные и военные круги, доставляет огорчение не одному свободолюбивому фрисландскому сердцу, и повсюду заметно предпочтение былой прусской власти» (Гейне 1957 {1827}: 84). Но начинаются его заметки с описания ужасающей нищеты и отсталости этих крестьян: «одинаковый уровень духовного развития или, вернее, неразвитости» (там же: 70).

Итак, везде, где мы видим перечень высших ценностей, он сводится к одному и тому же списку: честь, верность, служение высшей (превыше человека) силе, власть традиции, отсутствие материальных интересов. И этот набор — ценности элит, «рыцарский этос» по М. Оссовской (1987). Это замечание в дальнейшем следует помнить постоянно: оно многое объясняет.